

ПО ПОВОДУ «ЗВУКОВЫХ ЖЕСТОВ» ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА

Выражение «звуковой жест» требует пояснения. Под ним отнюдь не надо понимать жеста, сопровождаемого звуком, каким, например, является хлопанье дверью, топанье ногой об пол, скрежет зубами и пр. и пр. Слово «жест» употреблено в этом выражении условно — имеются в виду не жесты, а элементы устной речи (слова или части слов), роль которых в языке походит на роль жеста. Остановимся потому сначала на выяснении роли жеста и некоторых других аксессуаров речи.

В состав значения каждого слова (как и каждого предложения) входит нечто постоянное, определяемое без представления какого-нибудь единичного произношения данного слова (или данного предложения). Это и есть то значение, которое должно приводиться в толковых словарях и грамматиках, значение, связанное с составом слова из звуков (включая сюда и определенное место ударения). Это то значение, которое заставляет говорить о тождестве слов в разных предложениях (ему соответствует и тождество звукового состава); например, мы видим одно и то же слово *слуга* в таких выражениях, как *старый слуга* и *ваш покорный слуга*, видим одинаковую пару слов: *я+тебя* и тогда, когда на вопрос «кто кого обыграл?» отвечают *я тебя*, и тогда, когда кто-нибудь из взрослых, грозя ребенку пальцем (или только интонацией) произносит *я тебя!* Слово, определяемое с фонетической стороны сочетанием звуков $a+b+c$ (с определенным местом ударения), а со стороны значения понятием A , всюду равно самому себе (т. е. имеет и $a+b+c$, и A), но в одном случае значит $A+X$, в другом — $A+Y$.

В сочетании слов *испанцы ревнивы* еще нет мысли о том, что «испанцы — ревнивы», покуда эти слова не произнесены с соответствующей интонацией; а если произнести с интонацией другого сорта — получится вопрос «испанцы ревнивы?», в который можно еще вложить большее или меньшее сомнение.

Чем же прецизируются понятия, равные вышеуказанному значению слова, в каждом из отдельных случаев, когда употребляется данное слово? Что прибавляет к данному понятию

новые, только для данного случая нужные признаки? Много, и, во-первых, контекст (понимая его в самом широком смысле). «Это поймет только тот, кто знает в чем дело», — говорит комический педант в одном старом водевиле, заканчивая длинную свою тираду; но в сущности все, что мы говорим, нуждается в слушателе, понимающем «в чем дело». Если бы все, что мы желаем высказать, заключалось бы в формальных значениях употребленных нами слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Мы говорим только необходимыми намеками; раз они вызывают в слушателе нужную нам мысль, цель достигается; и говорить иначе было бы безрассудной расточительностью.

Кроме того, значение слов дополняется разнообразными видоизменениями звуковой стороны, куда входит главным образом мелодия голосового тона (а кроме нее еще темп речи, различные степени силы звука, разные оттенки в звукопроизводных работах отдельных органов, например вялая или энергичная их деятельность и пр. и пр.), и, наконец, — жестами.

Не надо думать, что эти стороны речевого процесса есть нечто не подлежащее ведению лингвистики, т. е. науки о языке. Только, разумеется, рассмотрение этих фактов (мелодизации, жестов и прочих аксессуаров речи) составляет особый самостоятельный отдел лингвистики; между прочим, это тот отдел, которым лингвистика соприкасается с теорией драматического искусства.

При этом надо иметь в виду, что в разных языках имеется различное использование интонаций и жестов. Наиболее резким примером отличия от роли мелодизации в русской речи является так называемое музыкальное ударение, имеющееся, например, в китайском, японском, а также сербском, литовском, латышском, шведском, норвежском и других языках. Под этим термином понимается наличие в фонетическом составе слова определенной мелодии, связанной со значением слова так же, как и определенный порядок составляющих данное слово звуков. Например, в русском *стол* носителями значения являются звуки *с+т+о+л*, произносимые (или слышимые) в данном порядке, а в китайском *ма* 'лошадь' носителем значения является помимо звуков *м+а*, еще определенная мелодия голосового тона. Русское *стол* остается одним и тем же словом, с какой бы интонацией мы ни произнесли его (с повышением, или с падением тона внутри гласного, или последовательно и с тем и с другим), но если в китайском *ма* одну интонацию заменить другой, то получится уже не «лошадь», а «коноп-

ля»; если же употребить еще новые сорта интонации, получится «мать» или же «ругаться». Таким образом, мелодизация захватывает в китайском более обширную область, чем в русском, являясь не только привеском к постоянному фонетическому представлению слова, но и входя в состав последнего.

Да и помимо таких исключительных случаев есть масса фактов, говорящих о различной роли мелодизации в разных языках. Так, например, нас, русских, иностранцы часто узнают по привычным для нас интонациям фраз; при этом говорят, что русские «поют» в разговоре. Это значит, что повышения и падения высоты голосового тона у нас более значительны и более часты, чем, например, в такой сравнительно монотонной речи, как английская.

А в языке бутукутов, живущих в Южной Америке, своеобразная певучесть речи еще резче бросается в ухо. И притом, надо заметить, свойственная их фразе мелодия не обладает той обязательностью, как музыкальное ударение в китайском. Те из туземцев, кто привык говорить по-португальски, легко ее утрачивают¹. Подобные же факты часто наблюдаются и у нас: люди, говорящие на иностранном языке, при наличии, конечно, подражательных способностей (и обыкновенно еще музыкальные), усваивают не только звуки, словарь и грамматику чужого языка, но и присущую ему мелодизацию (некоторые делают это даже вполне сознательно). И это почти необходимое условие для того, чтобы иностранцы признали такого в совершенстве усвоившего их язык человека за своего. Да, наконец, и в передразниваниях иностранного или инородческого произношения не малую роль играет подражание чужим мелодизациям, — взять хотя бы рассказчиков еврейских анекдотов.

Точно так же роль жеста в различных языках колеблется между почти исключительно эмоциональной функцией жеста, с одной стороны, и знаменательной — с другой. Последняя — знаменательная функция жеста — имеется в изобилии у диких народов, выражающих жестом то, что мы выразили бы словом. Наоборот, у европейских народов преобладает эмоциональная роль жеста. И разумеется, как при той, так и при другой, у разных племен «словарь» жестов может быть различен. О том, что знаменательные жесты могут различаться, говорить излишне; достаточно указать, например, что в Японии, говоря о себе, указывают не на грудь, как у нас, а на нос. Различие же эмоциональной функции жестов явствует из того, что одни нации употреб-

¹ Основываюсь на сообщении исследователя языка и быта южноамериканских индейцев Г. Г. Манизера.

ляют жестов больше (итальянцы), другие меньше (англичане).

Как не различны, однако, функции мелодизации и жестов в различных языках, значительную часть этих функций можно противопоставлять функциям звукового состава слов. И критерием для этого противопоставления можно считать: с одной стороны, символичность данного способа выражения (т. е. его условность, без предварительного знания которой этот способ выражения не будет понят), и, с другой стороны, наличие естественной связи между данным способом выражения и его значением. Выражение понятия «стол» через комплекс звуков $c+t+o+l$ принадлежит к чисто символическим способам выражения, так как из представления стола никак нельзя сделать заключения о $c+t+o+l$. Точно так же китайское обозначение «лошади» через $m+a+$ определенная интонация — выражение чисто символическое. Символическими являются, конечно, жесты азбуки глухонемых, потайные жесты людей темных профессий и пр. и пр.

К способам выражения второго сорта принадлежат прежде всего те интонации и те жесты, которыми выражаются эмоции, например гнев, восторг и пр. Сюда могут быть также причислены жесты, копирующие предметы или действия. Они ведь тоже имеют претензию «быть естественно понятными». Только надо иметь в виду, что и в понимаемости этого сорта способов выражения может большую роль играть условность. Можно назвать их потому не просто естественными, а потенциально-естественными.

Ведь, если мы знаем, что данный внеязыковой факт выражается определенной интонацией или определенным жестом, то можно объяснить происхождение этого нашего знания просто из того, что мы всегда или часто наблюдали эту эмоцию в сопровождении данной речевой интонации или данного жеста. И мы заучили, следовательно, эту связь точно так же, как мы заучили связь между звуко сочетанием $c+t+o+l$ и представлением стола на основании того, что это звуко сочетание всегда употреблялось при наличии мысли о столе у говорящего. Кроме изучения языка происходило, значит, и изучение нравов, и оба они служат средствами догадываться о чужой психике. Орудием изучения языка является подражание, но ведь и в области эмоциональных жестов оно имеет место: ребенок, например, в выражении недовольства и гнева подражает тому, что при подобных эмоциях делают его родители.

И тем не менее у тех интонаций и жестов, которые я называл потенциально-естественными, есть нечто отличное от чисто условных выражений; практика и привычка к ним уза-

коняют их, но они могут появиться у данного индивидуума и не как следствие подражания; пускай фактически это осуществляется только в редких случаях и даже только для некоторых, наименее зависящих от условности речевых интонаций и жестов. Однако и те, которые фактически восходят к подражанию, имеют с ними нечто общее: они усваиваются и более легко, чем чисто условные выражения². А это основывается, видимо, на существовании естественной связи между выражаемым и данным его выражением, той связи, которая, пожалуй, не будь фактора подражания, и сама бы создала у отдельных индивидуумов интонации и жесты, тождественные или сходные с общераспространенными.

Те психологические и физиологические процессы, которыми обуславливаются данные связи, видимо, в значительной степени одинаковы у всех людей; этим и объясняется сходство эмоциональных интонаций и жестов у разных народов, не имеющих ничего похожего в чисто условных способах выражения.

Как видно из сказанного, в большей части европейских языков, например, русском, немецком, французском и английском, в качестве условных способов выражения используются главным образом сочетания звуков; интонация же и жест носят потенциально-естественный характер³. Условимся считать (конечно, вполне субъективно) такое положение дела нормальным. В китайском с его ударением будет одно отклонение от этой нормы, в языке дикарей, изобилующем условными жестами, — другое.

Нас занимает вопрос, не существует ли уклонения от этой нормы в другую сторону. Нет ли звукосочетаний (соединений определенных гласных и согласных в известном порядке), роль которых аналогична роли жестов потенциально-естественных, имеющих претензию на общепонимаемость (в том числе и жестов, копирующих факты внешнего мира). Если таковые звукосочетания имеются, мы и назовем их ввиду этой аналогии «звуковыми жестами».

Пускай их аналогия с настоящими жестами будет неполной, пускай в них еще большая роль принадлежит услов-

² Эмоциональные интонации понимаются даже животными.

³ Функция потенциально-естественных интонаций не ограничивается выражением эмоций; они могут иметь также синтаксическое значение, например, при выражении вопроса. Иногда роль их вполне совпадает с ролью чисто условных способов выражения. Так, вопрос может выражаться в русском или частицей *ли*, или интонацией (есть, конечно, и другие способы: определенный порядок слов, специально вопросительные слова *когда*, *где*, *кто* и т. д.), например, *ты там был ли?* и *ты там был?* Ведь объективным признаком потенциально-естественных способов выражения приходится считать их приблизительную однородность в разных языках: вопросительная интонация улавливается иностранцем, частица же *ли* ничего не говорит ему.

ности, все-таки в известных звукосочетаниях (словах или частях слов) мы находим следующие признаки: возможность самостоятельного зарождения в душах отдельных индивидуумов тождественных или сходных комплексов с тождественными или сходными значениями, обусловленную этим легкость усвоения значений этих комплексов (по сравнению с усвоением чисто условных выражений) и, наконец, некоторое сходство между такими комплексами в разных языках.

Прежде всего нужно, конечно, упомянуть о звукоподражаниях, служащих в мире фонетическом аналогией для жестов, копирующих предметы и действия. К ним принадлежат, например, русские слова (или части слов в словах): *таратор-ить, чирик-ать, пилик-ать, чмок-ать, бум-бум* и т. д.

Но факты, наблюдаемые в отдельных языках, говорят, что и кроме звукоподражаний имеются комплексы, третируемые языковым мышлением одинаково со звукоподражательными (что явствует, между прочим, из одинаковой морфологической структуры и одинакового синтаксического употребления тех и других). Потому, следовательно, их и рассматривать надо вместе — независимо от того, что эти «другие» комплексы выражают уже не слуховые, а какие-либо иные впечатления.

Особенно многочисленны и особенно выпукло выделяются из прочих категорий слов такие (звукоподражательные и незвукоподражательные) комплексы в японском языке, рассмотрением фактов которого мы и ограничимся в настоящей заметке. Слова, относящиеся сюда, именуются обыкновенно ономатопоэтическими или ономатописными, а также описательными, подражательными, изобразительными. Формальная характеристика этого класса (состоящего из нескольких видов) не только отрицательная, т. е. не исчерпывается, например, отсутствием флексии, обычного склонения или спряжения. Наоборот, есть определенный рецепт производства осложненных форм от таких слов: суффикс *-то* служит для образования от них наречий, а различные формы глагола *суру* ('делать'), присоединяющиеся к ним также в качестве суффиксов, дают глаголы с полным спряжением (ср. *-ать, -аю* в наших *чирик-ать, пилик-ать — чирик-аю, пилик-аю*). Но в особый формальный класс «ономатопоэтики» выделяются не на основании этих суффиксаций (употребляемых и после других комплексов). Главной характерной чертой отдельных видов «ономатопоэтического» класса слов служит их фонетическая форма.

Наиболее многочисленный вид состоит обычно из удвоенного двусложного сочетания, в котором каждый слог состоит из согласного+гласного, с определенным местом музыкального ударения (оно различно в зависимости от говора,

в токийском это первый слог из четырех). Таковы, например, *горогоро* о грохоте, громе; *савасава* о свисте ветра; *гасагаса* о шорохе, например, бумаги; *пикапика* о сверкании, о молнии; *питипити* (читай с мягким т, как в русском перед и) о всплеске рыбы; *бурубуру* о дрожании; *дзарадзара* (или *дзаразара*) о жестоком, шершавом, *пирипири* о мелких укулах, о впечатлении, получаемом, когда кожу или рану щиплет едкий состав; *пэрапэра* о чем-нибудь быстром, беглом; *тёро-тёро* (читай *тё*, как по-русски, например в *тётя*) о течении ручья, о походке ребенка; *тёкотёко* о проворных шагах или частых перерывах чего-то во времени; *буцубуцу* о кипении, бурчании, ворчании; *гатагата* о стучащем или гремящем шуме; *хёрохёро* (читай *хё* по-русски); *ниiania* о гримасах, кривлянье; *барабара* о каплях дождя, *бэтабэта* о впечатлении клейкого. Иногда вместо двух слогов повторяется один долгий слог, т. е. слог с протяжной гласной или слог с дифтонгом (в том числе с соединением гласного с носовым согласным, что в японском языковом мышлении занимает такое же место, как дифтонги *ай*, *ау*). Таковы *пйпй* (черточка над буквой означает долготу звука) о звуке флейты; *гугу* или *го-го* о храпении; *ваиваи* о шуме человеческих голосов; *пам-пан* о ярком сиянии солнца; *дондон* о звуке барабана; *гон-гон* о звоне большого монастырского колокола; *дзандзан* о звоне пожарного колокола, тревоге; *дзундзун* о быстром исполнении чего-либо («раз-два и готово!»). Очень редко при удвоении двусложного комплекса второй его слог долог, таково *тирйнтирйи* о звоне маленького колокольчика.

Но, однако, и удвоение комплекса является не исключительной принадлежностью «ономатопэстик»; оно играет роль морфологического средства и при других классах слов, выражая обычно идею множественности или интенсивности (хотя функция такой редупликации не может быть приравнена к нашему образованию множественного числа: *нэннэн*, т. е. удвоенное *нэн* 'год' значит не «годы», а «каждый год», «год за годом»; и просто *нэн* может значит и «год» и «годы» — в зависимости от контекста). Но формальная сторона редупликации «ономатопэстик» представляет некоторые отличия от редупликации прочих слов. Помимо различий в ударении (для сравнения с четырехсложными «звуковыми жестами» нужно, конечно, брать удвоения двусложных слов, например, *тама-тама* 'редко', 'неожиданно' от *тама* 'драгоценность'), видимо, для «звуковых жестов» более чем для других ценен принцип фонетического тождества обеих половин слова.

Так при удвоении существительных и прочих слов очень часто наблюдается разница между начальными согласными обеих частей удвоения: в *токи-доки* 'по временам', которое

образовано через удвоение токи 'время', *т* чередуется с соответствующим звонким *д*; аналогично этому и другие начальные глухие согласные заменяются во второй части удвоения через соответствующие звонкие⁴, например, *ц* через *дз*.

При редупликации же в «ономатопэтических» словах такие чередования обычно не встречаются: например, *цуруцуру* (о скользком), а не *цурудзуру*.

Иногда согласные, с котрых начинается каждая половина редуплицированного существительного (или наречия и пр.), отличаются и не только по звонкости: редупликацией для *хи* 'день' служит, например, *хиби* 'каждый день' (мы ожидали бы *хихи*), и это объясняется из истории языка следующим образом: древний звук *п* исчез в известную эпоху в японских словах (благодаря чему теперь *п* в японском языке чрезвычайно редко) и перед гласным *и* заменился через мягкое *х*; таким образом, древнее слово *пи* 'день' стало произноситься *хи*; но в древней форме редупликации этого слова, по общему рецепту чередования глухого согласного с звонким, имелось в первой части *п*, а во второй — *б*, сохранившееся и до настоящего времени, и, следовательно, древнее *пиби* превратилось в *хиби*. В «звуковых жестах» редупликационного типа мы не встречаем ничего подобного: *хёрохёро*, а не *хероберо*. И что еще характернее в «ономатопэтиках» очень часто встречается звук *л*, отсутствующий в обыкновенных словах современного японского языка (кроме заимствованных), например вышеназванные *питипити*, *пикапика*, *пили* и многие другие.

Затем в токиоском говоре при редупликациях нормальных слов, начинающихся с *к* или с *г*, в начале второй половины встречается не обычное *г*, а звук несколько отличный, произносящийся в нос (как *ng* в немецком, например, в *singen*), — так называемое носовое *г*. Этот звук встречается только внутри слова, где зато не бывает простого, неносового *г*, позиция которого ограничивается началом слова. Единственным исключением являются «звуковые жесты» редупликационного типа, начинающиеся с *г*: *гасагаса*, *горогоро* и др. В них *г* второй половины такое же, как и в первой.

Второй формальный вид «ономатопэтик» характеризуется двусложной основой (состоящей из: согласный+гласный+согласный+гласный); второй из согласных, если он глухой, обычно бывает удвоенным, т. е. долгим) и суффиксом *-ри*. Таковы, например: *хирари* о блеске, сверкании; *киттири* о тесном, точном; *носсори* о движении улитки, о неуклюжем, о чванстве; *никкори* об улыбке, о светлом смехе; *паттири* о больших ясных глазах; *гарари* о шуме от стука;

⁴ Такие чередования имеются и в нередупликационных сложных словах, например, *такэ* 'бамбук', но *ао-дакэ* 'зеленый бамбук'.

хорори о каплях слез, бегущих одна за другой; *саппари* 'ясно', 'вполне', 'всецело'; *сиккари* 'крепко', 'верно'. Многие из основ могут фигурировать в образованиях обоих видов. При этом долгая согласная, имеющаяся при суффиксе *-ри*, в редуPLICATIONИОННОМ типе заменяется краткой. Примеры таких дублетов: *гарари* и *гарагара*, *хорори* и *хорохоро*, *никкори* и *никонико*, *коссори* и *косокоосо* 'воровски', 'втихомолку', 'исподтишка', *дарари* и *дарадара* 'медленно', 'потихоньку'.

Сравнительно редко встречаются удвоения комплексов второго типа (с суффиксом *-ри*): *никарипикари* рядом с *никарика*, *буцурибуцури* и рядом *буцубуцу*; в таком случае удвоенных согласных уже не бывает.

Из более коротких по составу возможны еще двусложные комплексы с удвоенным вторым согласным без всякого суффикса (таковы *сасса* 'поспешно', *сэссэ* 'энергично'), и, наконец, часто употребляемые односложные, тесно сросшиеся с суффиксом *-то* (который возможен и после всех видов «ономатопозетик», в том числе и после окончивающихся на *-ри*). К ним принадлежат: *дон-то* о громком шуме; *дотто* — о внезапном взрыве смеха или аплодисментах; *хатто* — при удивлении, неожиданности; *сотто* 'мягко', 'нежно' и др.

Из рассмотрения формальной стороны таких выражений можно сделать прежде всего вывод о большей, чем в других словах, ценности определенного звукового состава. В обыкновенных словах по существу дела безразлично, каким комплексом звуков выражается определенное представление; потому так легко и происходят разрушения и полные превращения звукового состава обыкновенных слов от действия фонетических законов. Так, звук *л* исчез из обыкновенных слов японского языка и от этого не произошло никакого ущерба для их понимаемости; ассоциации, связывающиеся с ним в отдельных словах у старых поколений, были перенесены новыми на те звуки, которые его заменили. Но для «ономатопозетических» слов, очевидно, важны какие-то связи между выражаемым представлением и определенными звуками. Что это должно быть так в словах звукоподражательных, ясно само по себе. Потому в отличие от обыкновенных слов и появляется звук *л* в таких комплексах, как *покари* (о выпускании табачного дыма изо рта), *пипи* (о звуке флейты, о чем-либо жалобном).

Но почему оказывается важной связь с определенными звуками у тех из рассмотренных японских выражений, которые передают впечатления не слуховые, а зрительные, осязательные, моторные и пр. Разумеется, надо считаться с тем, что одно и то же ономатопозетическое слово может передавать как слуховые, так и не слуховые впечатления, если только между ними существует какой-либо контакт в душе

говорящего; и мы имеем право предполагать происхождение этого совмещения в метафоре, благодаря которой комплекс, бывший первоначально только звукоподражательным, стал сопровождать, например, и зрительные впечатления. Но в действительности японские «звуковые жесты» довольно легко делятся на звукоподражательные⁵ и незвукоподражательные (чему, однако, не соответствует никакое различие в их фонетической и морфологической структуре; и те и другие бывают и редупликационными, и с суффиксом *-ри*, и с *-то*). И такие совмещения функций, как у *дзавадзава* (об ощущении холода и о шуме от проходящего народа) довольно редки. И вернее будет допустить непосредственную связь между представлениями фонетическими (акустическими представлениями звуков языка и моторными представлениями звукопроизводных работ) и внеязыковыми моторными, зрительными, осязательными и прочими представлениями. Эта связь вовсе не достаточна для того, чтобы ложиться в основу речевых ассоциаций. Комплекс *никапика* ни в ком не вызовет представления о молнии, как и молния не вызовет представления о комплексе *никапика*, если только предварительно не будет установлено условной ассоциации между тем и другим; так же или почти так обстоит дело с звукоподражательными японскими комплексами (хотя бы *вай-вай* — о шуме человеческих голосов). Да японские «ономатопэтики» и не претендуют на такие семасиологические функции, как у других слов. При переводе с японского на русский переводить большинство «ономатопэтик» нельзя, но их отлично можно не переводить, просто опуская. Все нужное для смысла оказывается выраженным другими словами. Исключения составляют такие комплексы, которые только формально принадлежат к выше перечисленным типам образования, а значение которых уже настолько обточилось и сузилось, что не представляет отличий от значений обыкновенных слов. Это в большинстве случаев образования на *-ри*, не имеющие редупликационных дублетов, а также многие из односложных основ, сросшихся с *-то*; например, *суккари* 'совершенно', *доссари* 'обильно', 'вдоволь', *хаккири* 'отчетливо', *юккури* 'медленно', *биккури* 'испуганно', *китто* 'непременно', *тянто* 'точно', 'строго', 'правильно', *титто* 'немного', *тонто* 'совсем'.

— Таким образом, поскольку значение «ономатопэтик» не теряет типичных для этого класса черт, они не имеют целью вызывать в уме слушающего внеязыковые представления, а предназначаются лишь для оживления представлений, вызванных окружающими словами, путем привнесения в состав переживаний слушающего некоторых тонов, гармони-

⁵ Конечно, только с точки зрения современного состояния языка.

рующих с наметившимся уже внеязыковым представлением. Разумеется, такие тоны могут оказаться присоединимыми к различным представлениям, откуда вытекает и широкая функция одного и того же «языкового жеста» (*текотeko* — о течении ручья и походке ребенка).

Творятся ли новые «звуковые жесты» или же только усваиваются старые, бывшие в употреблении у предшествующего поколения? Конечно, в громадном большинстве случаев играет роль только традиция.

Дело обстоит, видимо, аналогично с творчеством новых («своих», детских) слов детьми, начинающими говорить: оно возможно, но в нем нет надобности. Есть готовые, традиционные слова — слова взрослых, и чем скорее ребенок усвоит их, тем для него выгоднее. Пока же этого еще не произошло, ребенок творит слова, общим свойством которых служит элементарность фонетического состава (этим объясняется, например, распространение типа детских слов, состоящих из повторения одного простого слова: *тата, дада, нана* и пр. и пр.). И по многим причинам «ономатопозитические» слова японского языка следует рассматривать в связи с фактами детского языка вообще и японского детского языка в частности. Взять хотя бы обилие звукоподражаний у детей, а также чрезвычайную расплывчатость значений отдельных слов⁶. Наконец, простейшие фонетические рецепты детских слов можно сравнить с формальной стороной хотя бы редупликационных японских «звуковых жестов».

Что касается языка японских детей, то в нем ономатопозитические слова, не отличающиеся принципиально от выше-рассмотренных (отсутствуют только явления, служащие переходом к нормальной морфологии), играют колоссальную роль⁷. И на японские «звуковые жесты» вообще можно смотреть как на принцип специально детской морфологии, сохранившей право гражданства и в языке взрослых. С другой стороны, и большее количество «звуковых жестов» у японских детей, чем, например, у русских, нужно поставить в связь с тем, что эти явления не проводят грани между детским языком и языком взрослых; и встречаются, следовательно, со стороны последних покровительственное отношение.

⁶ Для примера приведу рассказ В. П. Вахтерова: «Моя девочка очень часто по ассоциациям, не вполне уловимым, одним и тем же словом называла самые разнообразные предметы. Например, то же самое слово *кы* она применяла и к шкуре медведя, с которой очень любила играть; тем же словом она называла и меховую шапочку, и меховой воротник, шубу, меховые туфли. Но если нетрудно понять ассоциации, связывающие эти предметы друг с другом, то нелегко понять, почему тем же самым словом она называла и некоторые кушанья. Нелегко понять, почему она не связывала этого слова, например, с образом собаки-щенка, которого очень любила» («Основы новой педагогики», 1913).

⁷ Ср. Wundt, *Völkerpsychologie*, I, 311.

КОММЕНТАРИЙ I*

1. *Специфические особенности последнего десятилетия 1917—1927 в истории нашей лингвистической мысли (вместо предисловия)* (стр. 51—56). Печ. по изд. «Ученые записки Института языка и литературы Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук [РАНИОН]», т. 3, М., 1928, стр. 3—9.

Идеи, высказанные в этой статье, развивались Е. Д. Поливановым неоднократно, в частности в докладе «Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория» (см. стр. 176—177 част. изд.) и в книге «За марксистское языкознание» (М., 1931), в особенности в разделе «Вместо предисловия» (стр. 3—9). По-видимому, эта статья была написана Е. Д. Поливановым как доклад — в связи с его работой в качестве заведующего лингвистической секцией РАНИОНа.

Стр. 52. См. В. И. Ленин, *Задачи союзов молодежи*, — Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 304.

Стр. 52—53. Точные библиографические данные о трудах, упоминаемых здесь: Р. О. Шор, *Язык и общество*, М., 1926; М. Н. Петерсон, *Язык как социальное явление*, — «Ученые записки Института языка и литературы РАНИОН», т. 1, М., 1927; Н. М. Каринский, *Язык образованной части населения г. Вятки и народные говоры*, — там же, т. 3, М., 1928; Г. К. Данилов, *Язык общественного класса*, — там же, т. 3, М., 1928; А. М. Селищев, *Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917—1926)*, М., 1928. Упоминаемые работы Поливанова — № 67 и 81 библиографического списка.

Стр. 55. Упоминаются работы: Л. В. Щерба, *Восточно-лужицкое наречие*, Т. 1, Пг., 1915; А. А. Шахматов, *Синтаксис русского языка*, вып. 1—2, Л., 1925—1927; 2-е изд., Л., 1941; А. М. Пешковский, *Русский синтаксис в научном освещении*, изд. 1-е, М., 1914; изд. 7-е, М., 1957; М. Н. Петерсон, *Очерк синтаксиса русского языка*, М.-Пг., 1923; М. В. Сергиевский, *Из области языка русских цыган*, — «Ученые записки Института языка и литературы РАНИОН», т. 3, М., 1928.

2. *Факторы фонетической эволюции языка, как трудового процесса. Обзор процессов, характерных для языкового развития в эпохи натурального хозяйства* (стр. 57—74). Печ. по изд. «Ученые записки Института языка и литературы Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук [РАНИОН]», т. 3, М., 1928, стр. 20—42.

Проблемы теории эволюции языка занимали Е. Д. Поливанова уже с начала 20-х годов. В 1923 г. в Ташкенте на узбекском языке была опубликована его книга «Понятие эволюции в языке», в качестве приложения к которой на русском языке вышла брошюра «Фонетические конвер-

* Составлен А. А. Леонтьевым.

генции» (перепечатана в ВЯ, 1957, № 3, стр. 77—83). Отдельные работы по частным проблемам теории эволюции публиковались и позже. Кроме перепечатанной в наст. изд. (стр. 75—89) главы из книги «За марксистское языкознание», рецензии на книгу Р. Якобсона (наст. изд., стр. 135—142) и настоящей статьи при жизни Е. Д. Поливанова его обобщающие работы по этой тематике не появлялись, хотя он неоднократно говорил о существовании рукописи под названием «Теория эволюции языка». Вероятно, эта рукопись была в числе материалов, утерянных после трагической гибели Е. Д. Поливанова.

Идея о влиянии детской речи на эволюцию языка усвоена Е. Д. Поливановым от его учителя И. А. Бодуэна де Куртене (хотя встречается— в несколько иной форме — и у многих неограмматиков). Бодуэн указывал в частности, что ребенок при усвоении языка «захватывает в будущее, предсказывая особенностями своей речи будущее состояние племенного языка, и только впоследствии пятится, так сказать, назад, все более приоравливаясь к нормальному языку окружающих». Под влиянием семьи, школы и языкового общения дети, правда, выучиваются говорить «правильно», но такие «толчки» не проходят даром: «накопление (кумуляция) следов от подобного рода толчков в целом ряде поколений ведет к действительным, окончательным изменениям во всем исторически сложившемся языке» (см. «Некоторые из общих положений...» в изд.: И. А. Бодуэн де Куртене, *Избранные труды по общему языкознанию*, т. 1, М., 1963, стр. 349—350. Ср. там же: *О смешанном характере всех языков*, стр. 364 и др.; *Опыт теории фонетических альтернатив*, стр. 335 и др.

Теория «экономии произносительной энергии» и интерпретация процесса усвоения языка как «эквивалента речевой деятельности соответствуют современным представлениям о речевой деятельности. См. об этом: А. А. Леонтьев, *Экономия произносительных усилий — фикция или действительность?*—«Материалы конференции „Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова“», т. 1, Самарканд, 1964.

О взглядах Е. Д. Поливанова на проблемы эволюции языка и исторической фонетики см.: Вяч. Вс. Иванов, *Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова*,—ВЯ, 1957, № 3, стр. 59—60, 71—72; А. А. Леонтьев, *И. А. Бодуэн де Куртене и петербургская школа русской лингвистики*,—ВЯ, 1951, № 4, стр. 116—124; И. В. Альтман, С. С. Белокриницкая, В. В. Шеворошкин, *О разработке некоторых вопросов фонетики и фонологии в трудах Е. Д. Поливанова*,—«Материалы конференции...», стр. 9—13; В. А. Виноградов, *Теория фонетических конвергенций Е. Д. Поливанова и принцип системности в фонологии*,—там же, стр. 13—18; И. Г. Добродомов, *Принципы изучения звуковых изменений в трудах Е. Д. Поливанова*,—там же, стр. 18—20; Л. А. Андреева, С. Ф. Занько, *Взгляды Е. Д. Поливанова на эволюцию языка и современные представления о языковом развитии*,—там же, стр. 21—22; Л. П. Крысин, *Вопросы языковой эволюции в трудах Е. Д. Поливанова*,—там же, стр. 22—27.

Стр. 61. См. № 72 библиографического списка.

соответствующих подсчетов (в частности, с помощью вычислительных машин) обсуждаются в статьях: Н. В. Gleason, *Counting and calculating for historical linguistics*,—«Anthropological Linguistics, vol. 1, 1959, pp. 22—32; Н. В. Gleason, *Genetic relationship among languages*,—«Structure of language and its mathematical aspects», Proceedings of symposia in applied mathematics, vol. XII, American Mathematical Society, 1961.

Стр. 295

Исследование общения посредством жестов постепенно выделяется в особую область семиотики (науки о знаковых системах), иногда называемую «кинезикой» (см. R. L. Birdwhistell, *Introduction to kinesics; an annotation system for analysis of body motion and gesture*, Washington, 1932; Э. М. Волоцкая, Т. М. Николаева, Д. М. Сегал, Т. В. Цивьян, *Жестовая коммуникация и её место среди других систем человеческого общения*,—«Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов», М., 1962, стр. 65—77; W. La Barre, *Paralinguistics, kinesics and social anthropology*,—«Approaches to semiotics», 'S-Gravenhage, 1964; M. Key, *Gestures and responses*,—«Studies in linguistics», vol. 16, 1962, № 3—4, pp. 92—99.

Стр. 297

В качестве наиболее распространенного в «примитивных» обществах случая употребления жестов в знаменательной функции можно указать на счет посредством жестов (при котором числительные первоначально являются обозначениями жестов или соответствующих частей тела, обычно руки и пальцев), см. K. and J. Franklin, *The Kewa counting system*,—«Journal of the Polynesian Society», vol. 71, 1962, № 2; А. Брайант, *Зулусский народ до прихода европейцев*, М., 1953, стр. 162—163; И. Л. Снегирев, *Числительные в языке зулу*—«Академия Наук СССР акад. Н. Я. Марру», М.—Л., 1935, стр. 342—343 и др.

Относительно различий в знаменательных жестах у разных народов см. анализ приводимого Р. О. Якобсоном примера различия между утвердительным и отрицательным жестами в русском и болгарском; Е. В. Падучева, *Международная конференция по семиотике в Польше*,—«Научно-техническая информация», серия 2, М., 1967, № 2, стр. 44.

Стр. 300

Русск. *тараторить* (как и родственный чешский глагол) не является по происхождению звукоподражательным словом, но могло быть переосмыслено как таковое после того, как распался класс интенсивных редуцированных глаголов, к которому это слово первоначально принадлежало, ср. родственные формы, недавно обнаруженные в анатолийском: хеттск. *tar-* 'говорить'; лувийск. *tatar-ija-* 'проклинать', лидийск. *tatro-* 'приказывать' (В. В. Шеворощин, *Лидийский язык*, М., 1967, стр. 44 и 53).

Стр. 302

Другие японские «звуковые жесты», содержащие *n* (*пяти-пяти, пуппу*—

о звуках снаряда), приводятся в книге: А. А. Холодович, *Синтаксис японского военного языка*, М., 1937, стр. 106 (§ 104, там же, стр. 105—106, посвященный звуковым жестам, написан в соответствии с концепцией Е. Д. Поливанова).

Стр. 306

Статья Поливанова является первым опытом формального описания «структуры загадки», который на 20 лет опередил работы Тэйлора, поставившего задачу анализа форм загадки (см. А. Taylor, *Problems in the study of riddles*,—«Southern Folklore Quarterly», II, 1938, № 3; работа Поливанова Тэйлору и его последователям осталась неизвестной). Согласно Тэйлору и его продолжателям загадка описывается как сравнение (содержащее один или более описательный элемент), референт (денотат) которого должен быть угадан; различаются загадки с противопоставлением (антитеза в первом типе у Поливанова) и без противопоставления (см. А. Taylor, *The riddle*,—«California Folklore Quarterly», II, 1943, p. 129; R. A. Georges and A. Dundes, *Towards a structural definition of the riddle*,—«Journal of American Folklore», vol. 76, 1963, pp. 111—113, ср. опыты структурного описания: Maung Than Sein and A. Dundes, *Twenty-three riddles from Central Burma*,—«Journal of American Folklore», vol. 77, 1964, N 33, pp. 69—75; В. В. Иванов и В. Н. Топоров, *К описанию некоторых кетских семиотических систем. III. Структура кетских загадок*—«Ученые записки Тартуского Государственного Университета», вып. 181, «Труды по знаковым системам», II, Тарту, 1955, стр. 134—136.

Стр. 311

Относительно количественной характеристики китайских тонов ср. С. F. Ho-skett, *Peiping phonology*,—«Readings in linguistics», New York, 1958, p. 219; А. А. Драгунов, *Грамматическая система современного китайского разговорного языка*, Л., 1962, стр. 33.

Стр. 313

Детальный анализ симметрического чередования тонов в классической китайской поэзии дается Р. Якобсоном: R. Jakobson, *Hommage C. Lévi-Strauss*, Paris, 1968 (там же новая литература вопроса). Сходные структуры характерны для классической вьетнамской поэзии, где различаются ровные тоны (1-й и 2-й) и неровные (четыре остальных); см. Duong Quang Hàm, *Viet Nam Van Hoc Su Yeu*, Hanoi, 1948; E. Burton, *Communication in Vietnamese poetry*,—«Van-Hoa Hguyet-San», v. XIII, 1964, N 9, стр. 1270—1271; Trần Văn Khê, *La musique vietnamienne traditionnelle*, Paris, 1962, стр. 279 и след. Это различие во вьетнамской метрике совпадает с фонологическим делением тонов на немодулированные и модулированные (см. Нгуен Хай Зыонг, *Система тонов и спектры гласных вьетнамского языка*, автореферат канд. дисс., М. 1963, стр. 12, ср. там же на стр. 13 тонкое замечание, применимое и к китайским метрам: «бинарная оппозиция двух групп] тонов строится на базе фонетической симметрии в языке и закона параллелизма в поэзии»).